

**СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА**

*1774, выдержки Дятлова Н. С. от 13.02.2020, 1–14/58=76%*

1. почерпни силы в его страданиях
2. люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим
3. Это жизнерадостная женщина сангвинического нрава и добрейшей души.
4. «Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, запечатлеть отражение моей души, как душа моя — отражение предвечного бога!» Друг мой... Но нет! Мне не под силу это, меня подавляет величие этих явлений.
5. Но я не унывал, только ещё живее чувствовал, как справедливо одно давнее мое наблюдение: люди с определенным положением в свете всегда будут чуждаться простонародья, словно боясь унижить себя близостью к нему; а ещё встречаются такие легкомысленные и злые озорники, которые для вида снисходят до бедного люда, чтобы только сильнее чваниться перед ним.
6. Я отлично знаю, что мы неравны и не можем быть равными; однако я утверждаю, что тот, кто считает нужным сторониться так называемой черни из страха уронить свое достоинство, заслуживает не меньшей хулы, чем трус, который прячется от врага, боясь потерпеть поражение.
7. Если ты спросишь, каковы здесь люди, мне придется ответить: «Как везде!» Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить, а если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут, каким бы способом от нее избавиться. Вот оно назначение человека!
8. Все силы моей души были в действии, и перед ней, перед моей подругой, полностью раскрывал я чудесную способность своего сердца приобщаться природе.
9. Я все это принял на веру.
10. Многим уже казалось, что человеческая жизнь — только сон, меня тоже не покидает это чувство. Я теряю дар речи, Вильгельм, когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничены творческие и познавательные силы человека[9], когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь имеющих только одну цель — продлить наше жалкое существование, а успокоенность в иных научных вопросах — всего лишь бессильное смирение фантазеров, которые расписывают стены своей темницы яркими фигурами и привлекательными видами. Я уйду в себя и открываю целый мир! Но тоже скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых, полнокровных образах. И все тогда мутится перед моим взором, и я живу, точно во сне улыбаясь миру.
11. Все учнейшие школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не знают, почему они хотят чего-нибудь; но что взрослые не лучше детей ошупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, точно так же не видят в своих поступках определенной цели, и что ими так же управляют при помощи печенья, пирожного и розог, — с этим никто не хочет согласиться, а по моему разумению, это вполне очевидно.
12. Спешу признаться тебе, помня твои взгляды, что почитаю счастливыми тех, кто живет не задумываясь, подобно детям, нянчится со своей куклой, одевает и раздевает ее и умильно ходит вокруг шкафа, куда мама заперла пирожное, а когда доберется до сладенького, то уплетает его за обе щеки и кричит: «ещё!» Счастливые создания! Хорошо живется и тем, кто дает пышные названия своим ничтожным занятиям и даже своим страстишкам и преподносит их роду человеческому как грандиозные подвиги во имя его пользы и процветания.
13. Благо тому, кто может быть таким! Но если кто в смирении своем понимает, какая всему этому цена, кто видит, как прилежно всякий благополучный мещанин подстригает свой садик под рай и как терпеливо даже несчастливец, сгибаясь под бременем, плетется своим

путем и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца, — кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе и счастлив уже тем, что он человек. И ещё тем, что, при всей своей беспомощности, в душе он хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает.

14. и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.
15. проработав час, увидел, что у меня получился стройный и очень интересный рисунок, к которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем не отступать от природы. Она одна неисчерпаемо богата, она одна совершенствует большого художника. Много можно сказать в пользу установленных правил, примерно то же, что говорят в похвалу общественному порядку. Человек, воспитанный на правилах, никогда не создаст ничего безвкусного и негодного, как человек, следующий законам и порядкам общежития, никогда не будет несносным соседом или отпетым злодеем. Зато, что бы мне ни говорили, всякие правила убивают ощущение природы и способность правдиво изображать ее! Ты скажешь: «Это слишком резко! Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побеги и т. д.».
16. Привести тебе сравнение, дорогой друг? Тут дело обстоит так же, как с любовью. Представь себе юношу, который всем сердцем привязан к девушке, проводит подле нее целые дни, растрчивает все силы, все состояние, чтобы каждый миг доказывать ей, как он беззаветно ей предан. И вдруг является некий филистер, чиновник, занимающий видную должность, и говорит влюбленному: «Милый юноша! Любить свойственно человеку, но надо любить по-человечески! Умейте распределять свое время: положенные часы посвящайте работе, а часы досуга-любимой девушке. Сосчитайте свое состояние, и на то, что останется от насущных нужд, вам не возбраняется делать ей подарки, только не часто, а так, скажем, ко дню рождения, к именинам и т. д.». Если юноша послушается, из него выйдет дельный молодой человек, и я первый порекомендую всякому государю назначить его в коллегии, но тогда любви его придет конец, а если он художник, то конец и его искусству. Друзья мои! Почему так редко бьет ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая ваши смущенные, души? Милые мои друзья, да потому, что по обоим берегам проживают рассудительные господа, чьи беседки, огороды и клумбы с тюльпанами смыло бы без следа, а посему они ухитряются заблаговременно предотвращать опасность с помощью отводных каналов и запруд.
17. Дети доверчиво рассказывают мне всякую всячину. Особенно же забавляет меня в них игра страстей, простодушное упорство желаний, когда к ним присоединяются другие деревенские ребяташки.
18. Всё, что я недавно говорил о живописи, можно, без сомнения, отнести и к поэзии; тут важно познать совершенное и найти в себе смелость выразить его словами — этим немногим сказано многое. Сегодня я наблюдал сцену, которую надо просто описать, чтобы получилась чудеснейшая в мире идиллия.
19. но мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы дать тебе представление о чистоте чувства, о любви и преданности этого человека. Мало того, мне нужен был бы дар величайшего поэта, чтобы охватить и выразительность его жестов, и звучность голоса, и затаенный огонь во взорах. Нет, никакими словами не описать той нежности, которой дышало все его существо: что бы я ни сказал, все выйдет грубо и нескладно.
20. Я счастлив и доволен, а значит, не гожусь в трезвые повествователи.
21. Это ангел! Фи, что я! Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство; короче говоря, она полонила мою душу.
22. Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной натуры! Все эти слова только пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз... нет, не в другой, а сейчас, сию минуту расскажу я тебе все! Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже три раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать

туда. Я с утра дал себе слово остаться дома, а сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера...

23. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались иссера-белые пухлые облака. Я успокоил их страх мнимо-научными доводами, хотя и сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи.
24. Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успел оправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером.
25. Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице, оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее.
26. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня, и чей рассказ занимает и трогает меня, как моя собственная домашняя жизнь.
27. Мы подошли к окну. Где-то в стороне ещё гроыхало, благодатный дождь струился на землю, и теплый воздух, насыщенный живительным ароматом, поднимался к нам. Она стояла, облокотясь на подоконник и вглядываясь в окрестности; потом посмотрела на небо, на меня; я увидел, что глаза ее подернулись слезами; она положила руку на мою и произнесла: «Клопшток!»[16] Я сразу же вспомнил великолепную оду, пришедшую ей на ум, и погрузился в поток ощущений, которые она пробудила своим возгласом. Я не выдержал, я склонился и с блаженными слезами поцеловал ее руку. А потом снова взглянул ей в глаза. Великий! Дай бог тебе увидеть благоговейный восторг в этих глазах, а мне никогда не слышать твоего имени из кощунственных уст!
28. Я переживаю такие счастливые дни, какие господь приберегает для своих святых угодников, и что бы со мной ни случилось, я не посмею сказать, что не познал радостей, чистейших радостей жизни.
29. Милый Вильгельм, я не раз задумывался над тем, как сильна в человеке жажда бродяжничать, делать новые открытия, как его манят просторы; но наряду с этим в нас живет внутренняя тяга к добровольному ограничению, к тому, чтобы катиться по привычной колее, не оглядываясь по сторонам.
30. Поразительно, право! Когда я приехал сюда и с пригорка оглядывал долину, — до чего же все вокруг притягивало меня. Вон тот лесок: хорошо бы нырнуть в его тень! И вершина вон той горы: хорошо бы оттуда обозреть всю окрестность! И примыкающие друг к другу холмы и укромные долины: хорошо бы углубиться в них! Я бежал туда и возвращался, не найдя того, на что надеялся. Будущее — та же даль! Необъятная туманность простерта перед нашей душой; ощущения наши теряются в ней, как и взгляды, и ах! как же мы жаждем отдать себя целиком, проникнуться блаженством единого, великого, прекрасного чувства. Но, увы, когда мы достигаем цели, когда «там» становится «тут», все оказывается прежним, и мы снова сознаем свое убожество, свою ограниченность, и душа наша томится по ускользнувшей усладе.
31. Так неугомнейший бродяга под конец стремится назад, в отчизну, и в своей лачуге, на груди жены, в кругу детей, в заботах об их пропитании находит блаженство, которого тщетно искал по всему свету.
32. Да, милый Вильгельм, дети ближе всего моей душе. Наблюдая их, находя в малыше зачатки всех добродетелей, всех сил, какие со временем так понадобятся ему; видя в упрямстве будущую стойкость и твердость характера, в шаловливости — веселый нрав и способность легко скользить над житейскими грозами, — и все это в такой целостности и чистоте! — я не устаю повторять золотые слова Учителя: «Если не обратитесь и не будете как дети!»
33. — И вот, друг мой, хотя они равны нам, хотя они должны служить нам примером, мы обращаемся с ними, как с низшими. У них не должно быть своей воли! Но ведь у нас-то есть своя воля! Откуда же такая привилегия? Оттого, что мы старше и разумнее! Боже правый, ты с небес видишь лишь только старых детей да малых детей; а сын твой давно уже возвестил, от которых из них тебе больше радости. Они же веруют в него и не слушают его (это тоже не

- ново), и детей воспитывают по своему образцу, и... прощай, Вильгельм! Довольно пустословить на эту тему.
34. Особенно было мне неприятно, что, судя по выражению лица, необщительность его объяснялась скорее упрямством и дурным характером, нежели ограниченностью ума. В дальнейшем это, к сожалению, вполне подтвердилось.
35. «Вот это я и хотел сказать, — подхватил я. — Дурное настроение сродни лени, оно, собственно, одна из ее разновидностей. От природы все мы с ленцой, однако же, если у нас хватает силы встряхнуться, работа начинает спориться, и мы находим в ней истинное удовольствие».
36. «Ничуть, — отвечал я, — разве то, чем портят жизнь себе и своим ближним, не заслуживает такого названия? Мало того что мы не в силах сделать друг друга счастливыми: неужто мы должны ещё отнимать друг у друга ту радость, какая изредка выпадает на долю каждого? И назовите мне человека, дурно настроенного, но достаточно мужественного, чтобы скрывать свое настроение, одному страдать от него, не омрачая жизни окружающим. Притом же чаще всего дурное настроение происходит от внутренней досады на собственное несовершенство, от недовольства самим собой, неизбежно связанного с завистью, которую, в свою очередь, разжигает нелепое тщеславие. Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, — вот что несносно».
37. Сердце мое переполнилось в этот миг; воспоминания о том, что было выстрадано когда-то, теснились в груди, и на глаза навернулись слезы.
38. «Вот что надо изо дня в день твердить себе, — заговорил я. — Одно только можешь ты сделать для друзей: не лишать их радости и приумножать их счастье, разделяя его с ними. Когда их терзает мучительная страсть, когда душа у них потрясена скорбью, способен ли ты дать им хоть каплю облегчения?»
39. Я огляделся по сторонам, и ах! как живо вспомнилось мне время, когда сердце мое было так одиноко.
40. в душе остался верен той истине, что мы должны поступать с детьми, как господь поступает с нами, позволяя нам блуждать в блаженных грезах и тем даруя нам наивысшее счастье.
41. Посмотрел бы ты, до чего у меня глупый вид, когда в обществе говорят о ней. А ещё когда меня спрашивают, нравится ли мне она! Нравится — терпеть не могу это слово. Кем надо быть, чтобы Лотта нравилась, а не заполняла все чувства, все помыслы! Нравится! Один тут недавно спрашивал меня, нравится ли мне Оссиан[19]!
42. Любит меня! Как это возвышает меня в собственных глазах! Как я... тебе можно в этом признаться, ты поймешь... как я благоговею перед самим собой с тех пор, что она любит меня!
43. Она для меня святыня. Всякое вожеление смолкает в ее присутствии.
44. Я без труда верю всему, что издавна говорилось о волшебной силе музыки. До чего трогает меня безыскусный напев! И до чего кстати умеет она сыграть его, как раз когда мне впору пустить себе пулю в лоб! Смятение и мрак моей души рассеиваются, и я опять дышу вольнее.
45. мираж ли то, что дает нам отраду?
46. Мне не очень-то по нутру иметь над собой начальство, а тут ещё все мы знаем, что и человек-то он дрянной. Ты пишешь, что матушка хотела бы определить меня к делу. Меня это рассмешило. Разве сейчас я бездельничаю? И не все ли равно в конце концов, что перебирать: горох или чечевицу. Все на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению трудится ради денег, почестей или чего-нибудь ещё.
47. Так как ты очень печешься о том, чтобы я не забросил рисования, я предпочел обойти этот вопрос, чем признаться тебе, сколь мало мною сделано за последнее время.
48. Никогда не был я так счастлив, никогда моя любовь к природе, к малейшей песчинке или былинке не была такой всеобъемлющей и проникновенной; и тем не менее, — не знаю, как бы это выразить, — мой изобразительный дар так слаб, а все так зыбко и туманно перед моим духовным взором, что я не могу запечатлеть ни одного очертания; мне кажется, будь у меня под рукой глина или воск, я бы сумел что-нибудь создать. Если это не пройдет, я

- достану глины и буду лепить — пусть выходят хоть пирожки! Трижды принимался я за портрет Лотты и трижды осрамился; это мне тем досаднее, что прежде я весьма успешно схватывал сходство. Тогда я сделал ее силуэт, и этим мне придется удовлетвориться.
49. На таком близком расстоянии сила притяжения слишком велика, — раз, и я там! Бабушка моя знала сказку про магнитную гору: когда корабли близко подплывали к ней, они теряли все железные части, гвозди перелетали на гору, и несчастные моряки гибли среди рушившихся досок.
  50. По-видимому, он не склонен к мрачным настроениям, а ты знаешь, что этот порок мне всего ненавистнее в людях.
  51. Не могу поручиться, что он не донимает ее порой мелкой ревностью; во всяком случае, на его месте я бы вряд ли уберегся от этого демона.
  52. На свете редко приходится решать, либо да, либо — нет! Чувства и поступки так же многообразны, как разновидности носов между орлиным и вздернутым. Поэтому не сердись, если я, признав все твои доводы, тем не менее попытаюсь найти лазейку между «да» и «нет».
  53. Сегодня мне попался в руки мой дневник, который я забросил с некоторых пор, и меня поразило, как сознательно я, шаг за шагом, шел на это, как ясно видел всегда свое состояние и тем не менее поступал не лучше ребенка, и теперь ещё ясно вижу все, но даже не собираюсь образумиться.
  54. деятельной любовью
  55. Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется.
  56. «Однако, друг мой, — продолжал я, здесь тоже возможны исключения. Конечно, воровство всегда безнравственно; однако же человек, идущий на грабеж, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой голодной смерти, пожалуй, заслуживает скорее жалости, нежели кары. А кто бросит камень в супруга, в справедливом гневе казнящего неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или в девушку, которая губит себя, в безудержном порыве предавшись минутному упоению любви. Даже законники наши, хладнокровные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания».
  57. «Ах вы, разумники! — с улыбкой произнес я. — Страсть! Опьянение! Помешательство! А вы, благонравные люди, стоите невозмутимо и безучастно в сторонке и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священнику, и, подобно фарисею, благодарите господу, что он не создал вас подобными одному из них. Я не раз бывал пьян, в страстях своих всегда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду недостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-мальски смелый, честный, непредусмотрительный поступок, непременно кричат: «Да он пьян! Да он рехнулся!» Стыдитесь, вы, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы!»
  58. речь ведь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями, когда на самом деле это несомненная слабость: куда легче умереть, чем стойко сносить мученическую жизнь».
  59. Я готов был оборвать разговор, потому что мне несноснее всего слушать ничтожные прописные истины, когда сам я говорю от полноты сердца. Однако я сдержался, ибо не раз уж слышал их и возмущался ими, и с живостью возразил ему: «Ты это именуешь слабостью? Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи — неужто ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме и он под влиянием испуга напряжет все силы и с легкостью будет таскать тяжести, которые в обычном состоянии и с места бы не сдвинул; и если другой, возмущенный обидой, схватится с шестерыми и одолеет их-что ж, по-твоему, оба они слабые люди? А раз напряжение- сила, почему же, добрейший друг, перенапряжение

должно быть ее противоположностью?» Альберт посмотрел на меня и сказал: «Не сердись, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем».

60. «Допустим, — согласился я. — Мне уж не раз ставили на вид, что мои рассуждения часто граничат с нелепицей. Попробуем как-нибудь иначе представить себе, каково должно быть на душе у человека, который решился сбросить обычно столь приятное бремя жизни; ибо мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами. Человеческой природе положен определенный предел, — продолжал я. — Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен ли он или слаб, а может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно душевных или физических, и, по-моему, так же дико говорить: тот трус, кто лишает себя жизни, — как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки».
61. Она не видит ни божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ей утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром и, задыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову бросается вниз, чтобы потопить свои страдания в обступившей ее со всех сторон смерти. Видишь ли, Альберт, это история многих людей. И скажи, разве нет в ней сходства с болезнью? Природа не может найти выход из запутанного лабиринта противоречивых сил, и человек умирает. Горе тому, кто будет смотреть на все это и скажет: «Глупая! Стоило ей выждать, чтобы время оказало свое действие, и отчаяние бы улеглось, нашелся бы другой, который бы ее утешил». Это все равно, что сказать: «Глупец! Умирает от горячки. Стоило ему подождать, чтобы силы его восстановились, соки в организме очистились, волнение в крови улеглось: все бы тогда наладилось, он жил бы и по сей день».
62. Альберту и это сравнение показалось недостаточно убедительным, он начал что-то возражать, между прочим, что я привел в пример глупую девчонку; а как можно оправдать человека разумного, не столь ограниченного, с широким кругозором, это ему непонятно. «Друг мой! — вскричал я. — Человек всегда останется человеком, и та крупница разума, которой он, быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть и ему становится тесно в рамках человеческой природы. Тем более... Ну, об этом в другой раз», — сказал я и схватился за шляпу. Сердце у меня было переполнено! И мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.
63. Я покормил их ужином, от меня они принимают его почти так же охотно, как от Лотты, а потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки. Уверяю тебя, я сам при этом многому учусь: их впечатления поражают меня неожиданностью. Зачастую мне приходится выдумывать какую-нибудь подробность, и если в следующий раз я забываю ее, они сейчас же говорят, что в прошлый раз было иначе, и теперь уж я стараюсь без малейшего изменения бубнить все подряд нараспев. Из этого я вынес урок, что вторым, даже улучшенным в художественном смысле, изданием своего произведения писатель неизбежно вредит книге. Мы очень податливы на первое впечатление и готовы поверить всему самому неправдоподобному, оно сразу же прочно внедряется в нас, и горе тому, кто сделает попытку вытравить или искоренить его!
64. Ясно одно: на свете лишь сила любви делает человека желанным.
65. Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?
66. Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий демон, преследует меня на всех путях.
67. И я видел их, все эти непостижимые силы, взаимодействующие и созидающие в недрах земли, а на земле и в поднебесье копошатся бесчисленные племена разнородных созданий, все, все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром! Жалкий глупец, ты все умаляешь, потому что сам ты так мал! От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унести на крыльях журавля, пролетавшего мимо, к берегам необозримого моря, из пенистой чаши

- вездесущего испытать головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству того, кто все созидает в себе и из себя!
68. Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких, нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем! Безобиднейшая прогулка стоит жизни тысячам жалких червячков; один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О нет, не великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, не потопаы, смывающие ваши деревни, не землетрясения, поглощающие ваши города: я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирателя и все перемалывающего чудовища.
69. поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.
70. Это поистине несчастье, Вильгельм! Мои деятельные силы разладились, и я пребываю в какой-то тревожной апатии, не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу. У меня больше нет ни творческого воображения, ни любви к природе, и книги противны мне. Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно... Право же, иногда мне хочется быть поденщиком, чтобы, проснувшись утром, иметь на предстоящий день хоть какую-то цель, стремление, надежду.
71. Милый друг, что, если только тягостная душевная тревога вынуждает меня жаждать перемен и все равно повсюду будет преследовать меня?
72. Видишь, как они угадывают мои желания и спешат оказать мелкие дружеские услуги, в тысячу раз более ценные, нежели пышные дары, которые тешат тщеславие даятеля и унижают нас.
73. И если порой грусть не берет верх и Лотта не отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склоняясь над ее рукой, — тогда я рвусь прочь на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада — одолеть крутой подъем, проложить тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть-чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, иногда глубокой ночью при свете полной луны я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а потом перед рассветом забываюсь томительным полусном! — Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власяница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме могилы!
74. Я шагал взад и вперед по моей любимой аллее. Таинственная симпатическая сила часто привлекала меня сюда ещё до встречи с Лоттой, и как же мы обрадовались, когда в начале знакомства обнаружили обоюдное влечение к этому уголку, поистине одному из самых романтических, какие когда-либо были созданы рукой человека.
75. Впрочем, я, кажется, уже не раз описывал тебе, как высокие стены буков мало-помалу сдвигаются и как аллея от примыкающего к ней боскета становится ещё темнее и заканчивается замкнутым со всех сторон уголком, в котором всегда веет ужасом одиночества.
76. «Когда я гуляю при лунном свете, передо мной всегда неизменно встает воспоминание о дорогих покойниках, и ощущение смерти и того, что будет за ней, охватывает меня. Мы не исчезнем, — продолжала она проникновенным голосом. — Но свидимся ли мы вновь, Вертер? Узнаем ли друг друга? Что вы предчувствуете, что скажете вы?»
77. Так говорила она, — ах, Вильгельм, кто перескажет то, что она говорила! Как может холодное, мертвое слово передать божественное цветение души! Альберт ласково прервал ее: «Это слишком тревожит вас, милая Лотта! Я знаю, вы склонны предаваться такого рода размышлениям, но, пожалуйста, не надо...» — «Ах, Альберт, — возразила она, — я знаю, ты не забудешь тех вечеров, когда папа бывал в отъезде, а мы отсылали малышей спать и сидели втроем за круглым столиком. Ты часто приносил с собой хорошую книгу, но очень редко заглядывал в нее, потому что ценнее всего на свете было общение с этой светлой душой, с

- этой прекрасной, нежной, жизнерадостной и неутомимой женщиной! Бог видел мои слезы, когда я ночью падала ниц перед ним с мольбой, чтобы он сделал меня похожей на нее».
78. «Вертер! — обратилась она ко мне. — И подумать, что такой женщине суждено было умереть! Господи, откуда берутся силы видеть, как от нас уносят самое дорогое, что есть в жизни, и только дети по-настоящему остро ощущают это, недаром они долго ещё жаловались, что черные люди унесли их маму!»
79. Я чувствую, чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания. Но не будем унывать! При беспечном нраве все легко! Беспечный нрав? Даже смешно, как из-под моего пера вышли эти слова. Ах, немножко больше беспечности, и я был бы счастливейшим из смертных. Что же это, в самом деле? Другие в невозмутимом самодовольстве кичатся передо мной своими ничтожными силенками и талантами, а я отчаиваюсь в своих силах и дарованиях? Боже всеблагий, оделивший меня так щедро, почему не удержал ты половину и не дал мне взамен самоуверенности и невзыскательности?
80. Ничего, ничего, все наладится. Ты совершенно прав, мой милый. С тех пор как я целые дни провожу на людях и вижу их делишки и повадки, я стал гораздо снисходительнее к себе. Раз уж мы так созданы, что все примеряем к себе и себя ко всему, — значит, радость и горе зависят от того, что нас окружает, и ничего нет опаснее одиночества. Воображение наше, по природе своей стремящееся подняться над миром, вскормленное фантастическими образами поэзии, рисует себе ряд людей, стоящих неизмеримо выше нас, и все, кроме нас, кажется нам необыкновенным, всякий другой человек представляется нам совершенством. И это вполне естественно. Мы на каждом шагу чувствуем, как много нам недостает, и часто видим у другого человека то, чего лишены сами, приписывая ему свои собственные качества, с несокрушимым душевным спокойствием в придачу. И вот счастливое порождение нашей фантазии готово. Зато когда мы неуверенно и кропотливо, с трудом пробиваемся вперед, то нередко обнаруживаем, что, спотыкаясь и плутая, мы забрались дальше, чем другие, плывя на всех парусах, и тут, поравнявшись с другими или даже опередив их, испытываем чувство подлинного самоутверждения.
81. Я начинаю кое-как осваиваться здесь. Самое главное, что дела достаточно; а кроме того, меня развлекает пестрое зрелище разнообразных людей, новых, разнородных типов. Я познакомился с графом К. и что ни день, то все сильнее почитаю его: это большой, светлый ум, но отнюдь не засушенный обширными познаниями; в его обхождении чувствуется столько ласкового дружелюбия! У меня было к нему деловое поручение, и он сразу принял во мне участие, с первых же слов увидев, что мы понимаем друг друга и что не с каждым можно так говорить, как со мной. Я, со своей стороны, глубоко тронут его приветливым и простым обращением. Право же, самая лучшая, самая чистая радость на свете — слушать откровенные излияния большой души.
82. Посланник сильно досаждал мне; я этого ожидал. Такого педантичного дурака ещё не видел мир. Все он делает строго по порядку, придирчив, как старая дева, и вечно недоволен собой, а потому и на него ничем не угодишь. У меня работа спорится, и пишу я сразу набело. А он способен возвратить мне бумагу и сказать: «Недурно, но просмотрите-ка ещё раз, — всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот». Тут уж я прихожу в бешенство. Ни одного «и», ни одного союза он тебе не уступит и яро ополчается против инверсий, которые нет-нет да проскользнут у меня. Фразу ему надо строить на строго определенный лад, иначе он ничего не поймет. Горе иметь дело с таким человеком! Единственное мое утешение-дружба графа К. На днях он вполне откровенно высказал мне свое недовольство медлительностью и педантизмом моего посланника. «Такие люди только осложняют жизнь себе и другим. Но ничего не поделаешь, — добавил он. — Приходится мириться, как путешественнику, которому надо перевалить через гору: не будь горы, дорога была бы много удобнее и короче, но раз она есть, необходимо одолеть ее!»
83. И в этом повинны вы все, из-за ваших уговоров и разглагольствований о пользе труда впрягся я в это ярмо! Труд! Да тот, кто сажает картофель и возит в город зерно на продажу, делает куда больше меня; если я не прав, я готов ещё десять лет проработать на галере, к которой прикован сейчас.

84. А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишаших вокруг! Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, как бы обскákat друг друга хотя бы на полшага; дряннейшие и подлейшие страсти в самом неприкрытом виде. Одна особа, например, похвåляется перед первым встречным своей знатностью и своими имениями, так что каждый неизбежно думает: вот дура! Превозносит невесть как свое захудалое дворянство и великолепие своих поместий.
85. Поистине я с каждым днем убеждаюсь все более, мой друг, что глупо судить о других по себе. У меня столько хлопот с самим собой, и сердце мое так строптиво, что мне мало дела до других, только бы им не было дела до меня.
86. Больше всего бесят меня пресловутые общественные отношения. Я сам не хуже других знаю, как важно различие сословий, как много выгод приносит оно мне самому; пусть только оно не служит мне препятствием, когда на моем пути встречается хоть немножко радости, хоть искра счастья.
87. мелкие дразги задерживают выполнение крупных дел.
88. Глупцы, как они не видят, что место не имеет значения и тот, кто сидит на первом месте, редко играет первую роль! Разве мало королей, которыми управляет их министр, мало министров, которыми управляет их секретарь? И кого считать первым? Того, по-моему, кто насквозь видит других и обладает достаточной властью или достаточно хитер, чтобы употребить их силы и страсти на осуществление своих замыслов.
89. Как иссушена моя душа! Ни одной минуты полноты чувств, ни одного счастливого часа! Ничего! Ничего! Я словно нахожусь в кукольном театре, смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки, и часто думаю: не оптический ли это обман? Я тоже играю на этом театре, вернее, мною играют как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе. С вечера я предполагаю полюбоваться на восход солнца, но не могу подняться с постели, днем я намереваюсь насладиться лунным светом — и не выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я встаю, почему ложусь спать. Нет бродила, поднимавшего во мне жизненную энергию, исчезли чары, отгонявшие от меня сон глубокой ночью, пробуждавшие меня ранним утром.
90. Они все отнимают друг у друга! Здоровье, доброе имя, радость, покой! И чаще всего по недомыслию, тупости и ограниченности, а послушать их, — так с наилучшими намерениями.
91. Великая вещь — душевное спокойствие и довольство собой. Только б не было, милый друг, это сокровище столь же хрупким, сколь оно ценно и прекрасно!
92. все отвечают крайне лаконически
93. Что бы ни толковали о независимости, а хотел бы я видеть человека, который спокойно слушал бы, как бездельники, имея против него козырь, судачат о нем; если их болтовня пустая, тогда, конечно, можно пренебречь ею.
94. а вдобавок ещё присовокупила, что теперь сплетням не будет конца и определенного сорта люди не перестанут торжествовать и злорадствовать, считая, что я по заслугам наказан за свою заносчивость, за презрение к ближним.
95. Ах, я сотни раз хватался за нож, чтобы облегчить душу; рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы легче было дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.
96. Я во что бы то ни стало хочу уехать и знаю наизусть все доводы, которые вы будете приводить, чтобы заставить меня остаться
97. Милый друг, не стану вдаваться в подробности; то, что было для меня так отрадно, в рассказе выйдет скучным.
98. Это был когда-то мой обычный путь; отсюда мы, мальчишки, учились швырять в воду плоские камни так, чтобы они давали в воде побольше рикошетов.
99. Когда Улисс говорит о безбрежном море и беспредельной земле, это звучит так правдиво, человечно, искренне, наивно и таинственно. Что мне в том, если я ныне за любым школьником могу повторить, что земля кругла? Человеку нужно немного земли, чтобы благоденствовать на ней, и ещё меньше, чтобы в ней покоиться.

100. Досадно мне ещё, что князь часто говорит о предметах, о которых знает понаслышке или по книгам, и при этом смотрит на них с чужой точки зрения. Он и во мне ценит больше ум и дарования, чем сердце, хотя оно — единственная моя гордость, оно одно источник всего, всей силы, всех радостей и страданий. Ведь то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня.
101. Князь обходится со мной как нельзя лучше, и все же я не на своем месте. В сущности, у нас нет ничего общего. Ему нельзя отказать в уме, но уме весьма заурядном; его общество занимает меня не больше, чем чтение умело написанной книги. Пробуду здесь ещё неделю, а затем опять пушусь в странствия. Удачнее всего я занимался здесь рисованием. Князь чувствует искусство и чувствовал бы ещё больше, если бы не замкнулся в кругу плоских научных понятий и самой избитой терминологии. Случается, я скрежещу, зубами, когда со всем жаром воображения открываю ему природу и искусство, а он, думая блеснуть, вдруг изрекает какую-нибудь прописную истину!
102. Сказать ли правду? А почему бы не сказать, Вильгельм? Со мной она была бы счастливей, чем с ним! Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы ее сердца. В нем нет чуткости... Как бы это объяснить? Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, где наши с Лоттой сердца бьются согласно; и в сотне других случаев, когда нам приходится выражать свои чувства по поводу поведения третьего лица. Зато, милый Вильгельм, он любит ее всей душой, а такая любовь заслуживает всяческой награды!
103. Это не только мой удел. Всем людям изменяют надежды, всех обманывают ожидания.
104. Порой жизнь снова хочет улыбнуться мне, — увы, лишь на миг!
105. у меня против воли возникает мысль: что, если бы Альберт умер? Тогда бы я и она... И я гонюсь за этой химерой, пока она не приводит меня к безднам, от которых я отступаю с содроганием.
106. Впрочем, к чему, это? Отчего не храню я про себя то, что меня мучит и оскорбляет? Зачем огорчаю тебя? Зачем постоянно даю тебе повод жалеть и бранить меня? Ну, все равно! Быть может, и это мой удел.
107. Да, ничего не поделаешь! Как природа клонится к осени, так и во мне и вокруг меня наступает осень. Листья мои блекнут, а с соседних деревьев листья уже облетели.
108. Я выхожу за город тем самым путем, по которому впервые вез Лотту на танцы, — все тогда было по-иному! И все, все миновало! Ни намека на прежнее, ни тени тех чувств, которыми тогда билось мое сердце. То же должен испытывать дух умершего, возвращаясь на развалины сгоревшего замка, который он, будучи владетельным князем, в расцвете сил воздвиг и украсил всеми дарами роскоши, а умирая, с упованием завещал своему любимому сыну.
109. Но довольно об этом! Ты знаешь мою собственную участь, знаешь меня самого и потому без труда поймешь, что именно влечет меня ко всем несчастным, а к этому в особенности.
110. Значит, такая любовь, такая верность, такая страсть вовсе не поэтический вымысел; она живет, она существует в нетронутой чистоте среди того класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. А мы от нашей образованности потеряли образ человеческий!
111. Меня бесит, Вильгельм, когда я вижу людей, не умеющих ценить и беречь то, что ещё есть хорошего на земле.
112. Ибо зачинщица всему она, жена нового пастора (наш старик уже умер). Хилое, хворое создание, имеющее веские причины относиться неприязненно к миру, потому что она-то никому не внушает приязни. Она глупа, а мнит себя ученой, говорит о пересмотре канона, ратует за новомодное морально-критическое преобразование христианства, пожимает плечами по поводу лафатеровских фантазий[24], а сама так больна, что не в состоянии радоваться божьему миру. Только такая тварь и могла срубить мои ореховые деревья. Подумай, я никак не могу прийти в себя!.. От палых листьев у нее, видишь ли, грязно и сыро во дворе, деревья заслоняют ей свет, а когда поспевают орехи, мальчишки сбивают их камнями, и это действует ей на нервы, это мешает ее глубоким размышлениям, мешает взвешивать сравнительные достоинства Кенникота[25], Землера и Михаэлиса[26].

113. Ах, будь я государем, я бы показал всем им — пасторше, старосте и палате... Государем! Да будь я государем, разве трогали б меня деревья в моей стране!
114. Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно, — Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он... надеялся, а я... был бы счастлив, если бы... Я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу и выражаюсь, по-моему, достаточно понятно.
115. о, увы, находит лишь их могилы и, стеная, поднимает взор к милой вечерней звезде, что закатывается в бурное море, и в душе героя оживают минувшие времена, когда благосклонный луч светил бесстрашным в опасности и месяц озарял их увитый цветами победоносный корабль; я читаю глубокую скорбь на его челе, я вижу, как, изнывая в одиночестве, бредет к могиле последний из великих, как впивает все новые, мучительно-жгучие радости от бесплотного присутствия родных теней и, глядя на холодную землю, на высокую колышущуюся траву, восклицает:
116. Ах, какая пустота, какая мучительная пустота у меня в груди! Часто мне кажется, если бы я мог хоть раз, один только раз прижать ее к сердцу, вся пустота была бы заполнена.
117. Да, мне ясно, дорогой мой, мне ясно и с каждым днем все яснее, что жизнь одного человека значит мало, почти ничего не значит.
118. Ах, такова брэнность человека, что даже там, где он по-настоящему утверждает свое бытие, где создается единственно верное впечатление от его присутствия, — в памяти и в душе его близких, даже и там суждено ему угаснуть, исчезнуть — и так быстро!
119. Часто мне хочется разодрать себе грудь и размозжить голову оттого, что люди так мало способны дать друг другу. Увы, если во мне самом нет любви, радости, восторга и жара, другой не подарит мне их, и, будь мое сердце полно блаженства, я не сделаю счастливым того, кто стоит передо мной, бесчувственный и бессильный.
120. Сотни раз был я готов броситься ей на шею. Один бог ведает, легко ли видеть, как перед глазами мелькает столько прелести, и не иметь права схватить ее. Ведь человек по природе своей захватчик! Хватают же дети все, что им вздумается? А я?
121. Мне так много дано, но чувство к ней поглощает все; мне так много дано, но без нее нет для меня ничего на свете.
122. Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой никогда не проснуться; утром я открываю глаза, вижу солнце и впадаю в тоску. Хорошо бы обладать вздорным характером и сваливать вину на погоду, на третье лицо, на неудавшееся предприятие! Тогда несносное бремя досады тяготело бы на мне лишь вполовину. А я, увы, слишком ясно понимаю, что вся вина во мне самом, — впрочем, какая там вина! Все равно, во мне самом источник всяческих мучений, как прежде был источник всяческого блаженства.
123. Благодарю тебя, Вильгельм, за сердечное участие, за доброжелательный совет и прошу лишь об одном — не тревожься. Дай мне перетерпеть! Как я ни измучен, у меня достанет силы выстоять. Я чту религию, ты знаешь это; я понимаю, что многим павшим духом она служит опорой, многим отчаявшимся утешением. Но может ли, должна ли она быть этим для каждого? Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет, — так почему она должна помочь мне? Ведь говорит же сын божий, что те лишь пребудут с ним, кого дал ему отец! А что, если я не дан ему? Что, если, как подсказывает мне сердце, отец хочет меня оставить себе?
124. Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна — таков удел человека. И если господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обессилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток?

125. Порой я говорю себе: «Твоя участь беспримерна!» — и называю других счастливыми. ещё никто не терпел таких мучений! Потом начну читать поэта древности[27], и мне чудится, будто я заглядываю в собственное сердце. Как я страдаю! Ах, неужто люди бывали так же несчастливы до меня?
126. Судя по одежде, это был человек низкого звания, и я решил, что он не обидится, если я поинтересуюсь его занятием, а потому спросил его, что он ищет.
127. Счастлив ты, что можешь приписать свое злосчастье земным препонам! Ты не чувствуешь, не понимаешь, что в твоём сокрушенном сердце, в твоём смятенном уме — причина всех горестей, и ни один король на свете не поможет тебе.
128. Вильгельм! Человек, о котором я писал тебе, тот счастливый несчастливец, служил писцом у отца Лотты, и любовь к ней, которую он питал, таил, но не мог скрыть, за что и был уволен, свела его с ума. Почувствуй из этих сухих слов, как меня потрясла его история, когда Альберт рассказал мне ее так же равнодушно, как, возможно, ты будешь читать о ней.
129. как трудно вскрыть истинные причины каждого поступка, когда речь идет о людях незаурядных.
130. он стал несносен в обществе, несчастье делало его тем несправедливее, чем несчастнее он был.
131. Любовь и верность — лучшие человеческие чувства — привели к насилию и убийству.
132. Это страшное, жестокое впечатление произвело в нем полный переворот, на миг стяхнуло с него грусть, уныние, тупую покорность. Жалость властно захватила его, он решил во что бы то ни стало спасти того человека. Он так понимал всю глубину его страдания, так искренне оправдывал его даже в убийстве, так входил в его положение, что твердо рассчитывал внушить свои чувства и другим. Ему не терпелось встать на защиту несчастного, пламенные речи просились с его губ, он спешил в охотничий дом и по дороге уже приводил вполголоса все те доводы, с которыми выступит перед амтманом.
133. Всё, что Альберт напоследок в присутствии амтмана говорил о деле арестованного, до крайности возмутило Вертера: ему почудился в этом выпад против него самого, и хотя по зрелом размышлении он разумом понял, что оба его собеседника правы, у него все же было такое чувство, что, допустив и признав их правоту, он отречется от своей внутренней сущности.
134. Среди бумаг его мы нашли запись, которая касается этого вопроса и, пожалуй, исчерпывающе выражает его отношение к Альберту: «Сколько бы я ни говорил и ни повторял себе, какой он честный и добрый, — ничего не могу с собой поделать, — меня от него с души воротит; я не в силах быть справедливым».
135. Он мысленно перебирал свои промахи на служебном поприще, припомнил и неприятность, постигшую его, когда он состоял при посольстве, а заодно и все, в чем он когда-нибудь не успел, чем был обижен. Во всем этом он находил оправдание своей праздности, не видел для себя никакого исхода, считал себя неспособным к повседневным житейским трудам, и так, отдавшись этому своеобразному течению мыслей и своей всепоглощающей страсти, проводя время в однообразном и безрадостном общении с милой и любимой женщиной, тревожа ее покой, расшатывая свои собственные силы, без смысла и надежды растрачивая их, он неудержимо приближался к печальному концу.
136. Дорогой Вильгельм, я сейчас уподобился тем несчастным, о которых говорили, что они одержимы злым духом. Временами что-то находит на меня: не тоска, не страсть, а что-то непонятное бушует внутри, грозит разорвать грудь, перехватывает дыхание! Горе мне, горе! В такие минуты я пускаюсь бродить посреди жуткого, в эту неприветную пору, ночного ландшафта.
137. Стоя над пропастью, я простирал руки, и меня влекло вниз! Вниз! Ах, какое блаженство сбросить туда вниз мои муки, мои страдания! Умчаться вместе с волнами! Увы! Я не мог сдвинуться с места, не мог покончить разом со всеми муками! Я чувствую, срок мой ещё не вышел! Ах, Вильгельм! Я без раздумья отдал бы свое бытие за то, чтобы вместе с ветром разгонять тучи, обуздывать водные потоки. О, неужто узнику когда-нибудь выпадет в удел это блаженство?

138. О, как правы были люди, когда приписывали внутренние противоречия влиянию враждебных сил!
139. Решение покинуть мир все сильнее укреплялось в душе Вертера в ту пору, чему способствовали и разные обстоятельства. С самого возвращения к Лотте это было последним его прибежищем, последней надеждой; однако он дал себе слово, что это не будет шальной и необдуманной шаг, он совершит его с ясным сознанием, с твердой и спокойной решимостью.
140. Поднять завесу и скрыться за ней! Вот и все! К чему же мешкать и колебаться? Потому, что мы не знаем, каково там, за этой завесой? И потому, что возврата оттуда нет? И ещё потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где все для нас неизвестность».
141. Альберт пригласил его остаться, но он усмотрел в этом пустую любезность, холодно поблагодарил и удалился.
142. И в то же время Вертер так стал ей дорог, с первой минуты знакомства так ярко сказалось их духовное сродство, а длительное общение с ним и многое из пережитого вместе оставило в ее сердце неизгладимый след.
143. Умереть! Что это значит? Видишь ли, мы фантазируем, когда говорим о смерти. Я не раз видел, как умирают люди. Но человек так ограничен по своей природе, что ему не дано постигнуть начало и конец своего бытия. Сейчас ещё свой, твой! Да, твой, любимая! А через миг... оторван, разлучен... И что, если — навеки! Нет, Лотта, нет... как я могу исчезнуть? Как можешь ты исчезнуть? Ведь мы же существуем! Исчезнуть? Что это значит? Опять только слово, только пустой звук, невнятный моей душе...
144. Но, увы, эти впечатления изгладились, как в душе верующего мало-помалу угасает сознание милости господней, щедро ниспосланной ему в явных и священных знамениях.
145. Все проходит, но и вечность не охладит тот живительный пламень, который я выпил вчера с твоих губ и неизменно ощущаю в себе!
146. Я не грежу, не заблуждаюсь! На пороге смерти мне все становится яснее. Мы не исчезнем! Мы свидимся! Увидим твою мать! Я увижу, узнаю ее и перед ней, перед твоей матерью, твоим двойником, открою свою душу
147. Она сама не сознавала, как тяжело сказывалась на ней теперь преграда, выросшая между нею и мужем! Из-за какой-то скрытой розни у них, разумных, порядочных» людей, начались недомолвки, каждый все больше убеждался в своей правоте и неправоте другого, отношения так обострялись и усложнялись, что под конец, в самую решительную минуту, от которой зависело все, узел уже невозможно было развязать. Если бы в порыве счастливой откровенности согласие их восстановилось, если бы между ними ожила взаимная снисходительная любовь и растопила их сердца, друг наш, пожалуй, был бы спасен...
148. Как мы знаем из писем Вертера, он никогда не скрывал, что стремится уйти из жизни.
149. Перед обедом явилась добрая приятельница с намерением о чем-то спросить и сейчас же уйти, однако осталась и оживила беседу за столом; поневоле надо было сделать над собой усилие, говорить, рассказывать и хоть немного забыться.
150. О, пусть смерть моя принесет вам счастье!
151. Я написал твоему отцу и просил его позаботиться о моем прахе. На дальнем краю кладбища в сторону поля растут две липы. Под ними хочу я покоиться. Он сделает это по дружбе. Попроси его за меня. Я не собираюсь навязывать благочестивым христианам посмертное соседство злосчастливого страдальца. Ах, мне хотелось, чтобы вы похоронили меня у дороги или в уединенной долине, чтобы священник и левит, благословясь, прошли мимо могильного камня, а самаритянин пролил над ним слезу
152. Но увы! Лишь немногим славным дано пролить свою кровь за близких и смертью своей вдохнуть в друзей обновленную, стократную жизнь.
153. Когда врач явился к несчастному, он застал его на полу в безнадежном состоянии, пульс ещё бился, но все тело было парализовано. Он прострелил себе голову над правым глазом, мозг брызнул наружу.

154. Судя по тому, что на спинке кресла была кровь, стрелял он, сидя за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла... Он лежал, обессиленный, на спине, головой к окну, одетый, в сапогах, в синем фраке и желтом жилете.
155. Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его.
156. ...когда наблюдаю, какими тесными пределами ограничена деятельность человека, и т. д. — В этом письме от 22 мая Вертер впервые высказывает мысль о самоубийстве, о добровольном выходе из этих ограничивающих человека тесных пределов.
157. Песни Оссиана имели громадный успех на всем европейском континенте. Макферсон, при всем его ярко выраженном поэтическом таланте, был расчетливым литератором, сознательно привнесшим в свои переводы-обработки настроения современной ему английской так называемой «кладбищенской поэзии» (Эдуарда Юнга, Томаса Грея и др.).
158. Примечательно, что ради Оссиана, певца смерти, Вертер изменяет Гомеру, певцу жизни, которому он поклонялся до того, как его любовь приняла трагический оборот.
159. ...поэта древности... — Имеется в виду Оссиан, а никак не Гомер, ибо поэтом-страдальцем был шотландский бард, последний из каледонских богатырей.
160. Этим Люций хотел сказать, что спастись от бесчестья можно только ценою смерти.

*Конец текста*